



Нендза-Щикониовска К. Советский городской эксперимент – между проектом модерности и утопическим сознанием. DOI 10.24411/2686-7206-2019-00009 // Антиномии. 2019. Т. 19, вып. 4. С. 66–87.

УДК 130.2:72.06

DOI 10.24411/2686-7206-2019-00009

СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – МЕЖДУ ПРОЕКТОМ МОДЕРНОСТИ И УТОПИЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ¹

Кинга Нендза-Щикониовска

кандидат гуманитарных наук
руководитель научного проекта
в Институте России и Восточной Европы
Ягеллонского университета
г. Краков, Польша
E-mail: ns.kinga@gmail.com

*Статья поступила 12.08.2019, принята к печати 07.10.2019,
доступна online 13.01.2020*

В статье рассматривается проблема резких переломов в советском городском дискурсе, которые имели место с момента прихода Сталина к власти и после его смерти. Исследуемый городской материал был ограничен тремя аспектами: (1) создатель города (архитектор и власть), (2) городское пространство (архитектурная культура) и (3) официальный дискурс.

Обосновывается точка зрения, согласно которой, несмотря на радикально разные формальные средства авангарда, сталинского стиля и позднесоветского модернизма, можно увидеть за ними единое «содержание»: феномен советского города. Изменения касались лишь дискурса (в нашем случае архитектурно-градостроительного), но не менялась основная парадигма советской культуры, остающейся бескомпромиссно современной.

Статья следует традиции критического анализа модерности, выработанной как представителями франкфуртской школы, так и постмодернистами, но расширяет концепт европейской модерности на советскую культуру. Советский метанарратив основывался на убеждении в возможности (и необходимости) всесторонней рациональной распланировки реальности, но – и это подчеркивается в статье – имел характер проекта тотального, универсального и бескомпромиссного. Именно бескомпромиссность советской модерности обрекает ее на провал. Для выявления этого в статье исследуются связи между модерностью и утопией, тоже бескомпромиссной, тоже отвергающей легитимность прошлого в пользу рационального плана.

Любая попытка реализовать утопию влечет изменения в изначальном идеальном, теоретическом, плане, что официальная советская культура – принципиально

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Национального научного центра, Польша (Narodowe Centrum Nauki) в рамках проекта № 2016/23/N/HS2/01372.

бескомпромиссная – тщательно скрывала (ложь и насилие становятся, таким образом, институтом). Однако дискурс власти и реальная картина советского города все больше расходились. Единственным способом очередного сближения жизни и официальной культуры мог стать лишь резкий перелом в доминирующем дискурсе, исполняющий при этом центральную мобилизационную функцию.

Ключевые слова: модернизм, утопия, советский город, советская культура, авангард, сталинский стиль, позднесоветский модернизм.

«Авангард легко превратить, как оказалось, в арьергард – все, что нужно сделать, это дать команду: кругом!» (Тоґoczko 1995: 4)¹ – подобное определение изменений в городском дискурсе эпохи СССР может принадлежать не только эстетике. Советский эксперимент, находящийся между полюсами совершенного плана и стихии реальности, не мог развиваться линейно. Особенно отчетливо мы наблюдаем это, анализируя советскую архитектурную культуру, на разных этапах развития которой выявляются исключаящие друг друга тенденции: единообразие аскетических многоквартирных домов и иерархия помпезно украшенных небоскребов, смелое увлечение будущим и консервативный эклектизм.

Данная публикация является попыткой обрисовать контекст и выявить природу резких переломов, определяющих советскую историю и четко обозначенных в городском материале. Для реализации этой цели я намерена выдвинуть две гипотезы.

Первая гипотеза – это предложение анализировать советский эксперимент через призму проекта модерности (современности, модерна)², и даже более того – модерности европейской. Обоснование, в чем сходство советской модерности с другими моделями, является одной из целей представленной статьи – вопрос о советской специфике тоже поднимается, но лишь в качестве сопровождающего и вспомогательного элемента. Я здесь придерживаюсь традиции критического анализа укорененной в философии европейского Просвещения модерности, – традиции, выработанной как представителями франкфуртской школы (Хоркхаймер, Адорно 1997), так и постмодернистами (Бауман 2010; Лиотар 1998; Welsch 1998), но расширяю концепт европейской модерности на советскую культуру, отчасти обращаясь к теории множественных модерностей Шмуэля Эйзенштадта (Eisenstadt 2000). В отличие от исследователей, заинтересованных в анализе сегодняшнего дня или будущего, обращающихся к теории модерности для определения возможных путей развития постсоветского или российского общества (например, см.: Мартынов 2010), я обращаюсь к советскому прошлому как некоему завершённому периоду с ярко выраженным началом, развитием и концом – именно целостность и завершенность этого исторического феномена является одной из причин его уникальной аналитической привлекательности.

Согласно второй гипотезе, глубокие изменения в градостроительно-архитектурном дискурсе (то есть различные формальные языки авангарда,

¹ Здесь и далее (если не указано иное) перевод автора (*примеч. ред.*).

² О проблеме перевода понятия *modernity* см.: (Поселягин 2016).

сталинского стиля и послевоенного модернизма) не обозначали смены основной парадигмы советской культуры. На каждом этапе развития советского города он рассматривался как пространство для реализации бескомпромиссно понимаемого проекта модерности. Благодаря этому, несмотря на эстетические и идеологические различия, мы можем говорить о единстве советской культуры, по существу рационалистической, централистической, тотальной и в конечном счете утопической.

Чтобы объяснить характер нелинейного развития советского города, я предлагаю проследить связи между советской модерностью и ее утопическим содержанием. Я попытаюсь продемонстрировать существование зависимостей между ними и их сложность; это касается не столько конкретных проектов, сколько места утопии в модели советской культуры, – культуры, принципиально бескомпромиссной и имеющей характер рационального, искусственно созданного проекта. Поскольку, как заявила польская исследователь Ирена Панькув «трансцендирование того, что *здесь и сейчас*, является естественным требованием разума» (Pańków 1990: 191), всякая утопия должна иметь элементы современного мышления, а модерность – предполагать утопические тенденции.

Город – явление обширное и многослойное, на него можно (и надо) смотреть из разных ракурсов. Однако, даже если сложность и целостность городской структуры мы признаем ее важными атрибутами, выбор окажется здесь необходимым. Направления нынешнего исследования определяет триада: (1) архитектурная культура, (2) создатель города и (3) официальный дискурс.

(1) Город можно рассматривать в соответствии с административными, социологическими, культурно-символическими, экономическими или архитектурно-градостроительными критериями; независимо от целей исследования необходимо учитывать и существование всех остальных параметров. В данной статье в центре внимания находится городское пространство, что не означает, впрочем, трактовки его как отдельного, независимого образования. Интересным представляется именно то, как в архитектуре и градостроительстве выражается город в качестве феномена культуры. Поэтому меня интересует не столько архитектура, сколько архитектурная культура Советского государства. Город тем самым становится лишь предлогом для анализа культуры как таковой.

(2) Предметом нынешнего исследования выступает создатель города: архитектор и власть (заказчик). Выбор подобного аспекта исследования можно обосновать характером советской урбанизации: планированной сверху, декларативно централизованной и тотальной. Это не значит, что я упускаю из виду других акторов городского пространства – прежде всего его жителя. Житель представлен в двух, казалось бы противоположных, качествах. Во-первых, как проектированный наравне с городом некий идеальный гражданин Советского Союза; во-вторых – настоящий человек, в принципе ускользающий от узко обозначенных дефиниций. Неконтролируемая стихийность городского общества является своеобразными трещинами, через которые высвечивается сложный характер советской культуры,

столь отличающийся от ее официальной картины. Именно к реакции на его – жителя – деятельность (или пассивность) следует отнести резкие стилистические, идеологические и организационные переломы в городской политике.

(3) Третье направление – анализ советского города через призму официального советского дискурса, который, вслед за Стивеном Коткиным, можно образно назвать способом «говорить по-большевистски» (Коткин 2001) и понимать в духе постструктуралистическом (Фуко 2004). Независимо от того, был ли официальный советский дискурс фактически интериоризован жителями или использование его есть не что иное, как позиция сугубо тактическая, это важно, если не центральное, явление советской культуры. В то же время факт диссонанса между идеологической картиной и реальностью не замалчивается, так как официальный дискурс должен был реагировать на реальность и подвергаться изменениям, которые и представляют центральной темой настоящего исследования.

Два перелома. Изменения в культуре и обществе, связанные с укреплением власти Сталина и началом его культа, произошли на рубеже 1920-х и 1930-х гг. Не завершился еще период великого авангардного брожения, но уже тогда сторонники «современной архитектуры» начали терпеть поражения, особенно болезненные в случае престижных конкурсов (таких, как проект нового здания библиотеки им. В.И. Ленина в 1928 г.). Представители авангарда должны были уже тогда почувствовать опасность неминуемых перемен, но они не сдавались без боя – еще не закончился период бурных споров и отраслевой полифонии (Udovički-Selb 2009). Моментом финального перелома можно считать 28 февраля 1932 г., когда были подведены итоги конкурса проектов Дворца Советов, в котором модернистские предложения (в том числе великого Ле Корбюзье) проиграла проекту Бориса Иофана. Хотя планируемое монументальное здание-памятник никогда не было реализовано, оно все-таки стало для современников идеологическим и эстетическим образцом (Sadowski 2009).

Сталинская культура не скрывала, что приносит с собой новое начало, новую революцию. Определял ее лозунг вождя о «великом переломе» (Сталин 1949), обозначающем, прежде всего, иной подход к развитию народного хозяйства, к внешней и внутренней политике¹. Но в равной степени это было и время эстетических и идеологических изменений в философии города, основанных на отказе от существующего, которое становится прошлым, и на повороте к прошлому, которое превращается в идеал будущего. Повторяется, таким образом, жест авангарда, отбросившего царское наследие – но в этот раз минувшей ошибкой является тот же авангард. В городской политике критиковались теперь «левацкие загибы в области жилищного строительства, увлечение домами-коммунами, вредными теориями урбанизма и дезурбанизма» (Мостаков 1937: 60). Даже те принципы архитектурного авангарда, которые непосредственно вытекали из социалистических позиций,

¹ Прямо революцией называет эти изменения Хмельницкий (Хмельницкий 2006: 33-36).

были дискредитированы; их упрекали в «вульгарном, грубо механическом подходе к проблемам жилищной архитектуры» (Мостаков 1937: 61).

Несмотря на острую жилищную нужду, сталинская культура щедро возводила роскошные здания, так как это ими должен застраиваться город будущего. Поэтому группа счастливиц могла жить за декоративными фасадами новых квартир с высокими потолками в то время, когда уделом большинства городского населения являлось отсутствие личного пространства и базовых удобств. В течение первой пятилетки было построено двадцать три миллиона квадратных метров жилой площади. Между тем число городских жителей, вместо прогнозируемых пяти, увеличилось на восемнадцать миллионов. Жилья резко не хватало (Хмельницкий, Милютин 2013: 94). До конца сталинского периода ситуация не нормализовалась. Прошло очередное десятилетие – уже четвертое после Октябрьского переворота, и люди все еще жили в перенаселенных коммунальных квартирах или временных бараках. Обещаний светлого будущего было явно недостаточно. Период экстраординарного сплочения рядов для скорого улучшения жизни населения невыносимым образом затягивался. Выросло уже новое поколение, не изведавшее «нормальности», переживающее временный якобы «момент начала». Тот потрясающий факт, что социальную мобилизацию удалось сохранить настолько долго, вплоть до смерти Сталина, трудно объяснить лишь террором – его постоянно сопровождала эффективная пропаганда¹. Но и ее влияние со временем уменьшилось. Форсированная индустриализация, потом война и послевоенное восстановление страны – это были сильные мобилизационные факторы, но состояние напряженности не может быть постоянным (Leszczyński 2013: 222).

Назрела необходимость снова изменить дискурс, освежить идею. При этом – подобным же образом, как в случае сталинского перелома, – решено было не создавать диаметрально новый язык культуры, а лишь вернуться к позапрошлomu, который на этот раз был найден в раннесоветском периоде. Архитектура и градостроительство являлись важным элементом этой смены.

Обращаясь к понятию «нереализованного наследия» Селима Хан-Магомедова (Хан-Магомедов 1996: 7-8)², можно заметить, что созданные авангардом идеи особенно подходили для возрождения. Развитие авангарда резко прервали на пике его достижений, ему не было дано естественным образом исчерпать свой потенциал, и теперь он мог вдохновлять архитекторов и идеологов. Поздний советский модернизм широко использовал идеи Гинзбурга, Мая, Весниных.

Архитектурно-градостроительная сторона реформ Хрущева не была чем-то добавочным; она выполняла функции одной из опор нового времени. Советское государство впервые направило свои усилия на то, чтобы

¹ Интерес к мобилизационному характеру советской культуры присутствует у исследователей (Баканов 2013; Тимошенко 2012).

² Исследователь пишет, однако, о потенциале, наблюдаемом у истоков (у основания «ствола») любого стиля.

реально улучшить жилищные условия для простых людей, и модернистская архитектура должна была стать инструментом реализации этой цели. Куба Снопек провокационно – и весьма обоснованно – назвал Никиту Хрущева «самым влиятельным советским архитектором эпохи модернизма» (Снопек 2013).

Хотя жилищные проблемы так и не были решены к концу СССР, трудно переоценить хрущевскую городскую революцию, благодаря которой миллионы семей могли переехать в свою собственную квартиру. Уровень жизни несомненно повысился. Сразу же зазвучали, однако, и критические голоса, повторяющие аргументы противников авангарда: массовая застройка привела к созданию безличного, монотонного, нечеловеческого ландшафта, простирающегося от Эльбы до Владивостока. Независимо от региона или размера города воспроизводились типовое панельное жилье, стандартные общественные здания, идентичная мебель. Идеи и формы, рожденные на Западе, были реализованы с советской безжалостной последовательностью и тоталитарным размахом.

О чем свидетельствуют формальные сдвиги, которые потрясли советский город после прихода к власти Сталина и после его смерти? Касались ли они лишь фасада или полностью изменили структуру здания, города и общества? Резкий, внезапный и масштабный характер этих преобразований заставляет нас задать вопрос об их глубине. Если в эстетическом плане мы наблюдаем явления, противоположные друг другу, можем ли мы связывать их с глубокими культурными трансформациями? Следует ли нам говорить не об одной, а о разных культурах: ленинской, сталинской, позднесоветской? Советологи стоят здесь на противоположных позициях (чаще всего противопоставляются взгляды Владимира Паперного и Бориса Гройса. См.: Паперный 2011; Гройс 2013). Не перечеркивая обоснованности стратегии «Культуры два», я предлагаю включить эти изменения в один процесс, не теряя, однако, из поля зрения различия, и особенно моменты перелома. Подобная позиция не только позволяет избежать соблазна слить диаметрально противоположные явления в одно целое, но и учитывает тот факт, что поэтика революций определяла советскую культуру.

Для того чтобы говорить о феномене советского города, надо определить, какое единое содержание находится за формой, которая менялась столь радикальным образом. «Нить», объединяющую каждый из упоминаемых периодов, я предлагаю увидеть в бескомпромиссной привязанности к парадигме модерности. На протяжении всего существования СССР наблюдаемые переломы касались лишь дискурса (в нашем случае архитектурно-градостроительного). Более того, производны они именно от характера советского современного мышления.

Модерная ли? Критика модерности в гуманитарных науках касается преимущественно западной культуры, но ведь не должна ограничиваться ею. Все еще спорным оказывается вопрос, можно ли нам говорить о российской, советской или постсоветской модерности. Для одного из главных теоретиков этой области, Энтони Гидденса (Giddens 1990), модерность носит исключительно западноевропейский характер: именно здесь она была



Три облика (пост)советского города на примере Новокузнецка: пространство авангарда, сталинский стиль и позднесоветский модернизм (фотографии автора)

создана, отсюда распространяется на весь мир. Если детерминантами европейской модерности выступают такие факторы, как капитализм или национальное государство, можно ли описать культуру СССР в ее категориях? Поэтому некоторые исследователи отказывают советскому эксперименту в модерности. Так, Александр Марков заявил: «Приходится признать, что СССР не был проектом современности. И институты, и быт СССР принадлежали домодерной эпохе, как бы эффективно, удачно или даже иногда виртуозно они ни работали. Бюрократ, садящийся в “Волгу”, инженер, получающий квартиру, – они получают трофеи модернизации, а не результаты, хотя и могут операционально внести немалый вклад и в мировую модернизацию как изобретатели или управленцы» (Марков 2016: 78).

Тем не менее, как мне кажется, взгляд на советский эксперимент сквозь призму модерности может оказаться аналитически пригодным. Советская урбанизация была не только частью основанного на индустриализации проекта экономически-социального прогресса – ее корнем являлось убеждение в возможности всесторонней, рациональной распланировки реальности на ее различных уровнях: от политического, экономического и социального до антропологического.

Но как объяснить явные различия между советской и западноевропейской модерностями? Эта проблема касается не только культуры СССР, но и любой другой неевропейской модерности. Неудивительно, что эти вопросы поднимает постколониальная критика, упрекающая узкое понимание модерности в европоцентризме. На почве этих разногласий возникли новые концепции отношения модерности к европейской и другим культурам. Особо значительной оказалась теория множественных модерностей (англ. *multiple modernities*) израильского социолога Шмуэля Эйзенштадта, отстаивающего возможность выделять разные модели модерности в зависимости от исследуемой культуры. Дифференциация не происходит здесь на основе простого заимствования – в полной или частичной степени – европейских образцов: открывается перспектива разнообразного выработки собственных моделей (Eisenstadt 2000)¹. Неевропейские модерности можно даже истолковывать как альтернативные для западноевропейской (David-Fox 2015; Дэвид-Фокс 2016). Дальше всего идет теория переплетенных модерностей (англ. *entangled modernities*), которая не только допускает многообразие возможных проявлений модерности в разных культурах мира, но также учитывает их сложные взаимодействия (Дэвид-Фокс 2016). Развивает эту концепцию Йоран (Геран) Терборн (Therborn 2003).

Однако подобное сосредоточение внимания на различиях грозит потерей сущности исследуемого явления. Как заметил Штефан Плаггенборг, с помощью теории множественных модерностей мы описываем отдельные деревья, не заметив при этом существования леса (см. об этом: Дэвид-Фокс 2016: 35). Даже сторонник вышеуказанных концепций Майкл Дэвид-Фокс замечает данную опасность: «Теория переплетенных модерностей грозит

¹ Удачным примером использования этого подхода для анализа советской культуры является работа Дэвида Хоффманна, посвященная социальной политике СССР (Хоффманн 2018).

разъединить и обособить эти различные измерения до такой степени, что будут утрачены базовые взаимосвязи» (Дэвид-Фокс 2016: 41).

Чтобы избежать этой опасности, Дэвид-Фокс предлагает увязать теории переплетенных и альтернативных модерностей (Дэвид-Фокс 2016: 21-22, 41). Однако, по моему мнению, правильнее объединить взгляд Эйзенштадта и Терборна с «классической» теорией модерности и именно на эту последнюю сделать упор. Благодаря этому, учитывая многообразие возможных реализаций современного проекта и их сложные корреляции, мы не потеряем все еще полезное с аналитической точки зрения понятие модерности. Предложение обозначить смысловые границы модерности как универсального явления не уменьшает значения специфики отдельных внутриевропейских или внеевропейских культур, так как про различия можно говорить, лишь определив общее.

Поэтому я попытаюсь выявить черты модерности, отвечающие ситуации разных культур и разных периодов их истории, учитывая при этом опасность слишком широких и предельно общих дефиниций. Одновременно я постараюсь обратить внимание на те стороны советского эксперимента, которые и позволяют нам говорить о нем как о проекте модерности.

Модернизация государства и общества вместе с модернистской формой идейно-эстетических явлений – это настолько узловые элементы модерности (в качестве и причины, и результата), что иногда отождествляются с ней как равнозначные. Тем не менее это не они определяют суть модерности.

Модерность является состоянием разрыва с прошлым: разрыва резко, не вытекающего из традиции – противостоящего ей. Она отвергает узаконивающий потенциал прошлого, ставя на его место рациональный план. Речь здесь идет, конечно, лишь о ситуации модельной – в действительности данный разрыв является непоследовательным и фрагментарным, но это он доминирует в дискурсе.

Модерность предлагает способ самооправдания социальных институтов с помощью одного из метанарративов, то есть целостных, якобы универсальных «больших рассказов», объясняющих социокультурную реальность и придающих ей правомерность на основе не подлежащей обсуждению картины будущего. Поэтому я принимаю устоявшееся объяснение Лиотара, что метанарративы, «как и мифы... ставят своей целью легитимировать социальные и политические институты и практики, законодательства, этики, стили мышления. Но в отличие от мифов они ищут эту легитимацию не в изначальном основополагающем акте, но в подлежащем свершению будущем, т.е. в Идее, подлежащей реализации. Эта Идея (свободы, «просвещения», социализма и т. д.) обладает легитимирующей силой потому, что она универсальна. Она направляет все аспекты человеческой реальности. Она придает современности характерный для нее модус *проекта*» (Лиотар 2008b: 34).

Неслучайно не только метанарративы можно противопоставить исходящему из прошлого мифу, но и утопию, также ориентированную на будущее (Pańków 1990: 188-197; Czeremski, Sadowski 2012). Утопия, однако, в отличие от мифа и метанарратива, не призвана оправдать существующий социокультурный порядок – она выступает против него. В двадцатом веке

в России была осуществлена попытка реализовать утопию в невиданном ранее масштабе, создав на ее основе очередной «большой рассказ». Это исключительно современный жест.

Советский эксперимент, как и другие современные проекты, возник из убеждения о возможности и необходимости перестройки мира по принципам разума – в противовес естественным, идущим снизу процессам. Именно этот момент надо здесь особо подчеркнуть: речь идет о рационалистическом проекте, созданном интеллектуалами в тиши кабинетов и внедряемом в жизнь решительными единицами – сверху и силой (Scott 1998). По своей природе он выступал против фрагментарных, низовых и стихийных действий, а также традиции как естественной легитимации социальных институтов.

Реализацией этого убеждения был советский городской эксперимент, предполагавший, что именно город станет основным пространством функционирования нового человека. Пример советской урбанизации здесь чрезвычайно интересен: во-первых, из-за масштаба предпринятого проекта, а во-вторых, из-за бескомпромиссного характера анализируемой культуры.

Что же касается советской культуры, то здесь можно идти и дальше – анализировать ее не просто как проект модерности, но прямо как проект европейской модерности; не как альтернативу европейской модели, а, наоборот, как плод европейской цивилизации. Внутреннее разнообразие европейской культуры оправдывает предложение не ограничивать Европу лишь в пределах ее западной части, а русскую и советскую культуры рассматривать в качестве европейских *par excellence* (Nędza-Sikoniowska 2018).

Для оправдания подобного подхода надо, впрочем, определить специфику европейской модерности. Можно здесь перечислить ряд элементов, прямо с ней ассоциируемых и лишь заимствованных (выборочно) другими культурами. Однако могут ли такие факторы, как капитализм, секуляризация, эмансипация женщин, демократия, общедоступная система образования, национальное государство, индустриализация, культ спорта и гигиены и т. п., считаться определяющими феномен европейской модерности? Ведь нет монополии на них у Запада, нет монополии на них у Нового времени. Элементом, действительно отличающим Европу, выступает лишь традиция, по отношению которой и возникла модерность, – традиция, вырастающая из двух базовых начал: античности и христианства. Этот момент остается общим как для Западной, так и для Восточной Европы.

Надо здесь подчеркнуть два момента. Во-первых, традиция является не только состоянием, вопреки которому рождается модерность, – из нее модерность вырастает. Во-вторых (как уже было сказано), разрыв с традицией никогда не оказывается полным: в действительности модерность развивается параллельно традиции, вступая с ней в сложные взаимосвязи (Дэвид-Фокс 2016: 28-29). Тоже для того, чтобы уловить эти тонкости, приходится расширить классическую теорию модерности, отталкиваясь от теории Эйзенштадта.

В этом смысле российский / (пост)советский проект можно рассматривать как пример европейской модерности. Тем более, что важным

элементом Европы (отличающим ее, допустим, от североамериканской модели), следует считать четкую сетку формировавшейся веками (на фундаменте античности и христианства) региональной специфики, иногда чрезвычайно острой. Русская культура со своими отличиями прекрасно вписывается в эту модель.

Онтология утопии. «Утопия – это мечта, которая становится системой, идеал, превращенный в доктрину» (Szacki 2000: 27), – сказал однажды польский исследователь по вопросам утопии Ежи Шацкий. Не от холодного расчета рождается она: за утопией стоит пылкое желание перемен, коренящееся в мифах о счастливом, справедливом обществе¹. Оба утопических пласта – рациональная доктрина и иррациональная мечта – вырастают из несогласия с реальностью, они становятся альтернативой ей, требуют выхода за пределы того, что представляет действительность.

Утопическое сознание объединяло мышление Восточной и Западной Европы, являясь пространством социальных, политических и моральных экспериментов. Образцовые утопические проекты создавались на Западе; тем не менее крупнейший утопический эксперимент был предложен Восточной Европой.

Генезис советского утопизма можно объяснять как импортом чужой идеи, так и его имманентной природой. Для русской традиции утопические элементы не были новыми – они уже существовали в фольклоре, литературе, общественной мысли. В природе русского менталитета, якобы максималистского и бескомпромиссного, ставившего общество выше личности, доверяющего сверхчеловеческой легитимности власти (Lazari 1995), можно увидеть благодатную почву для роста утопического зерна. Можно, однако, обратиться и к тем аспектам утопического советского сознания, которые носили исключительно европейский характер и как таковые участвовали в создании и интерпретации модерности, вырастающей из рационализма эпохи Просвещения.

Утопию определяют как неосуществимую и не считающуюся с действительностью картину идеального, эгалитарного общества (Kopaliński 1985: 1235). Положительный аспект утопии всегда связан с ее критической стороной. Утопия не столько описывает предлагаемую идеальную модель, сколько отрицает реальность, из которой выросла. Как отмечает Ирена Панькув, «утопия – это теория социальной реальности, состоящая из двух основных компонентов: критически-разрушительного и положительного-проектирующего. Утопия в своем критическом слое характеризуется значительным реализмом, пронизательностью, внутренней последовательностью» (Pańków 1990: 171).

Сила утопического предложения заключается в точности критической оценки современности, наиболее наглядным примером чего является успех марксизма. Смена, снос, несогласие – роль этой стороны утопии особо подчеркивает Карл Маннгейм: «Утопичным является то сознание, которое не

¹ Об отношениях утопии и мифа см., например: (Pańków 1990: 188-197; Czeremski, Sadowski 2012).

находится в соответствии с окружающим его “бытием”. Это несоответствие проявляется всегда в том, что подобное сознание в переживании, мышлении и деятельности ориентируется на факторы, которые реально не содержатся в этом “бытии”. Однако [...] Мы будем считать утопичной лишь ту “трансцендентную по отношению к действительности” ориентацию, которая, переходя в действие, частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей» (Mannheim 1992: 159)¹.

Рациональный элемент доминирует в критической стороне утопии, мечта – в положительной. Это разделение ни в коем случае не является резким и однозначным. Горизонт мечты определяет перспективу критики, идеальная альтернатива всегда последовательна в своем рационализме.

Оба пласта утопии объединяет их целостный, тотальный подход.

Утопист – не реформатор. Он не стремится улучшить один лишь элемент реальности – ему нужна всеобщая перемена социальной обстановки. Утопия – это проект глобального характера, но не чурается она и деталей. Ее черта – дотошность, но дотошность особенная: не учитывающая исключений из правил. Ей интересно то, что является предсказуемым, повторяемым, обрядовым – как в повседневности, так и в праздник (Szacki 2000: 14, 27, 33-36). Не учитывает она случайности, ненормативного поведения, но прежде всего – несогласия со своим проектом. Утопия основана на предположении о том, что поведение человека можно (и надо) проектировать – подобно природным явлениям.

И именно этому моменту онтологии утопии стоит уделить особое внимание, вписывая его в сеть связей с проектом европейской модерности.

Бескомпромиссная природа модерности. Неслучайно отец современной философии Ренэ Декарт выбрал фигуру градостроителя, чтобы проиллюстрировать направление нового – современного – мышления. В «Рассуждении о методе» он говорит о необходимости строительства «города философии» с нуля, не оглядываясь на предложения предшествующих «архитекторов». Следуя вкусу своей эпохи – столь близкому модернистам XX столетия, он ставит целостный, рациональный, идущий сверху план над низовым, стихийно сформировавшимся укладом: «...часто работа, составленная из многих частей и сделанная руками многих мастеров, не имеет такого совершенства, как работа, над которой трудился один человек. Так, мы видим, что здания, задуманные и исполненные одним архитектором, обыкновенно красивее и лучше устроены, чем те, в переделке которых принимали участие многие, пользуясь старыми стенами, построенными для других целей. Точно так же старинные города, разрастаясь с течением времени из небольших посадов и становясь большими городами, обычно столь плохо распланированы, по сравнению с городами-крепостями, построенными на равнине по замыслу одного инженера, что, хотя при рассмотрении этих зданий поодиночке нередко находишь в них никак не меньше искусства,

¹ См. перевод: <http://www.politnauka.org>. Это, согласно Маннгейму, отличается утопическое сознание от идеологического, также ориентированного на цели, «трансцендентные по отношению к действительности», но при этом остающегося «вмонтированным» в существующую картину мира (Mannheim 1992: 159-174).

нежели в зданиях крепостей, однако при виде того, как они расположены – здесь маленькое здание, там большое – и как улицы от них становятся искривленными и неравной длины, можно подумать, что это скорее дело случая, чем разумной воли людей. А если иметь в виду, что всегда были должностные лица, заботившиеся о том, чтобы частные постройки служили к украшению города, то станет ясным, как нелегко создать что-либо законченное, имея дело только с чужим творением» (Декарт 1953: 17).

На красоту рационального города может повлиять не только прошлое, понимаемое как балласт, но и будущее – замысел реализовать идеальный план, перенести его с чертежной доски в реальную жизнь. Даже город, который возникает на пустом месте, спланированный целостно и рационально, неизбежно сталкивается с объективными вызовами реальности: ландшафтом, климатом, экономикой, социальным укладом и индивидуальной психологией. От мелочей до серьезных препятствий – все влияет на первоначальный план, изменяет его, заставляет быть гибким. «Картографическая монополия» – согласно Бауману, ситуация, в которой карта предшествует появлению города (Bauman 1998: 18), – дает планировщику преимущество лишь на короткое время. Скоро оказывается, что даже в столь комфортной ситуации он должен постоянно догонять реальность и приспособляться к ней.

При встрече с реальностью основные положения утопического плана строителей коммунизма вынуждены были претерпеть изменения, что, однако, официальная советская культура – принципиально бескомпромиссная – тщательно скрывала. Таким образом, дискурс власти и реальная картина советского города все больше расходились. Наглядность этого процесса дезавуировала изначальный проект. Единственным способом очередного сближения жизни и официальной культуры мог стать лишь резкий перелом в доминирующем дискурсе, остающемся при этом в рамках парадигмы советской культуры. Радикальные эстетические изменения в городском пространстве – наглядный тому пример.

Главной целью упомянутых дискурсивных переломов являлось сохранение мобилизационного характера культуры, благодаря поддержанию атмосферы непрекращающегося начинания с нуля. Вольфганг Вельш именно в «пафосе радикального нового начала» находит один из определяющих факторов Нового времени (Welsch 1998: 99-101). Рационалистическая утопия Просвещения должна была построить новый мир, основанный не на истории, а на чисто интеллектуальном акте и смелой человеческой воле – создавать города на пустом месте, полностью контролируя каждый элемент процесса. Картезианский инженер, который строит на пустой равнине совершенный (потому что новый) город, оправдывает очередные переломы, постоянные повороты к неискаженному началу. Лиотар в «Заметке о смысле “пост-”» подобный способ рассматривать историю сочетает с модерностью (современностью): «...идея линейной хронологии абсолютно “современна”. Она свойственна разом и христианству, и картезианству, и якобинству: коль скоро мы зачинаем нечто совершенно новое, значит нам нужно перевести стрелки часов на нулевую отметку. Сама идея современности тесно соот-

несена с принципом, согласно которому возможно и необходимо рвать с традицией и учреждать некий абсолютно новый образ жизни и мышления» (Лиотар 2008а: 105-106). Философ, однако, сразу добавляет важное возражение: «Сегодня мы подозреваем, что этот *разрыв* – не столько способ превзойти прошлое, сколько способ его забыть или подавить, т. е. повторить» (Лиотар 2008а: 106).

Динамика переломов в советском городском дискурсе привела к тому, что линейный изначально принцип культурного развития со временем приобрел циклическую форму. Чем было тогда «новое начало»? Стало ли настоящей «нулевой точкой» вытеснение языка авангарда соцреализмом и соцреализма – поздним модернизмом? Переломы Сталина и Хрущева имеют много общего. Отказываясь от «ошибок и искажений» своих предшественников, они возвращались к отвергнутым раньше решениям. Оба узаконивали свою революцию прошлым: вместе того, чтобы выработать новое, возвращались к проверенным идеям¹. Таким образом, оба они имеют сильно консервативный характер, который и отличает их от революции 1917 г., являющейся совершенно новым экспериментом. Надо согласиться с замечанием Мартина Малии: каждый народ лишь один раз в своей истории может совершить революцию (Malia 2006).

Модерность – ложь – насилие. В поисках детерминантов Нового времени Вольфганг Вельш, помимо рациональности (ведущей к радикальной новизне), рассматривает идею универсализма: тотальной, обобщающей, беспощадно нивелирующей разнообразие (Welsch 1998: 102). Картезианская позиция навязывает тотальность: негативно относится она к постепенным, фрагментарным реформам и отстаивает необходимость совершения всеобъемлющей революции. Такой взгляд отрицает возможность любого компромисса, столь необходимого для реализации абстрактного плана. Для маскировки несовпадений между идеальным проектом и реальностью необходимо обратиться к лжи; чтобы сохранить мобилизацию – к насилию (Szacki 2000: 176). В ситуации «реализованной» утопии как ложь, так и насилие становятся институтом.

Следует здесь обратить внимание на важную особенность советской доктрины: обладая якобы научным характером, принципиально исключала она возможность критики, что и превращало ее в догму: ее не признавали – ее исповедывали (Imos 2007). Забота о сохранении веры в непогрешимость доктрины (и ее стражи) порождала оруэлловское «двоемыслие», которое, таким образом, не являлось искажением проекта – оно выросло из его основ.

Лешек Колаковский в эссе 1985 г. «Коммунизм как культурная формация» обратил внимание на одно тревожное противоречие утопий Нового времени: обществом совершенного эгалитаризма правит – иногда жестоко – элита (Kołakowski 1990: 302). Именно в эпохе Просвещения философ ищет корни проблемы: «Вырастающий из Просвещения рационализм,

¹ У Вельша другой подход. По его мнению, «ссылки на традицию следует понимать не как оправдание новизны, а как критику старого» (Welsch 1998: 101). Тем не менее кажется, что оба элемента ни в коем случае не исключают друг друга – цитата легитимизирует как отобранный фрагмент прошлого, так и настоящее.

презрение к традиции и ненависть к целому мифологическому слою культуры принес в коммунизме плоды не только в форме жестокого преследования религии; они были также выражены в качестве принципа – скорее на уровне практики, чем явного признания, согласно которому человеческие личности полностью заменяемы, а жизни отдельных людей имеют значение лишь в качестве инструмента *общего дела*, то есть государства, поскольку нет рациональных оснований для того, чтобы присвоить человеческой личности любой особенный, субъективный статус; рационализм таким способом превратился в идею рабства» (Kořakowski 1990: 311-312).

Перефразируя Лиотара, можно утверждать, что если модернность началась с цареубийства – кровавой расправы с законным сувереном, власть которого строилась на традиции и мифе, то заканчивает ее повторное выступление против суверена геноцид (Лиотар 2008b: 35-36). Не только Аушвиц, но и ГУЛАг можно рассматривать как «слово-символ» поражения проекта модерности¹. Оба они разрушили веру человечества в прогресс и эмансипацию, оказавшись не предательством, а плодом модерности (Бауман 2010).

Проект модерности обратился к разуму для освобождения человечества от насилия природы и традиционной культуры. Человек должен был «расколдовывать мир», став его сознательным творцом. И все же модернность терпит здесь поражение, сама одеваясь в миф и порабощая человека (Хоркхаймер, Адорно 1997). Ее эффективность направляется против людей. Это порождает «абсурдность состояния, при котором насилие системы над людьми возрастает с каждым шагом, освобождающим их от природного насилия» (Хоркхаймер, Адорно 1997: 56). В этом контексте стоит вспомнить слова Пьера Бурдьё, с которыми он обратился к своим русским читателям в начале 1990-х гг.: «...недостаточно развернуться в обратную сторону от ошибки, чтобы прийти к истине» (Бурдьё 1993: 31).

* * *

Обе заявленные в начале статьи гипотезы, предполагающие трактовку советской культуры как единого феномена, определяемого при этом модерной стратегией, остаются все еще открытой проблемой как одна из возможных интерпретаций. Однако категория модерности кажется особенно оправданной в качестве перспективы, связывающей три выявленных облика советской культуры, так как не просто позволяет учитывать эти резкие смены, но и помогает уловить их природу. У резких переломов в советском городском дискурсе прослеживается далеко не одна причина: их провоцировали такие столь разные факторы, как социально-экономическая обстановка, международные эстетические тенденции и даже личный вкус руководителей страны. Все факторы не исключают друг друга. Предложение рассмотреть эти удивительные сдвиги через призму бескомпромиссно понимаемого модерного проекта является не менее оправданным, и именно оно позволяет наглядно изобразить ситуацию радикального несогласия идти путем эволюции и компромисса.

¹ Об Освенциме Лиотар пишет, ссылаясь на Адорна (Лиотар 2008a: 107).

Реализованная утопия превращается в идеологию, то есть стратегию, которая по своей природе не так бескомпромиссная, как утопия. Однако в случае проекта принципиально бескомпромиссного признать этот факт нельзя. «Ложное сознание» оказывается общим элементом как утопии, так и идеологии (Mannheim 1992: 48), и это оно продуцирует сильнейший – в мобилизационном плане – дискурс нового начала. Повторяющиеся каждые 20 лет очередные переломы по своей природе являлись лже-революциями, не затрагивая сути системы. Осуществлялись они согласно одному принципу: сохранить полный контроль над реальностью – на уровне дискурса, а дискурс скомпрометированный заменить новым.

Вышеупомянутые процессы наглядно изображает советский город. Архитектура как явление длительного времени способна пережить культуры, которые создали ее. Остается она записью прошлого, однако иногда – как закрытый для сегодняшнего прочтения палимпсест. Что способен рассказать про советскую культуру современный российский город? Что, например, про Сталинск говорит нам сегодняшней Новокузнецк?

Суровую строчную застройку, спроектированную немецким архитектором Эрнстом Маем, спрятали за обрамляющими ее кольцами пафосных сталинок. Спиной к сталинским проспектам расположился полный простора и повторяемости модернистский новый центр. Целостность впечатления от этих трех частей, при их очевидных отличиях, внушительна. Не разницу мы здесь наблюдаем, а единый и повторяемый упорно жест – жест строительства города с нуля.

Но, на самом деле, подобный жест случился лишь один раз – когда в начале 30-х гг. было решено возвести новый промышленный город. Один из старейших сибирских городов, Кузнецк, географически остался за рекой, а в дискурсе оказался за чертой забвения. Новокузнецк–Сталинск строили не рядом с ним, а в некоем «глухом месте» среди степи¹. Прошлое не являлось полноценным соперником, его же стоило замалчивать.

Этот жест удивительным способом попытались повторять. Однако – не получилось. Получился – один ансамбль.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Баканов С.А. 2013. Мобилизационная модель развития советского общества: проблемы теории и историографии // Вестник Челябинского государственного университета. № 18 (309). Серия «История». Вып. 56. С. 87-92.

Бауман З. 2010. Актуальность холокоста. Москва : Европа. 316 с.

Бурдые П. 1993. Социология политики. Москва : Socio-Logos. 336 с.

Гройс Б.Е. 2013. Gesamtkunstwerk Сталин. Москва : Ад Маргинем Пресс. 168 с.

Декарт Р. 1953. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках. Москва : АН СССР. 656 с.

¹ «В глухих местах возникли новые города: Новокузнецк, Игарка, Белово, Прокопьевск и др. Расширялись и благоустраивались старые города» (Окладников, Шунков 1968: 354).

- Дэвид-Фокс М. 2016. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? // Новое литературное обозрение. № 4 (140). С. 19-44.
- Коткин С. 2001. Говорить по-большевистски // Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Советский период : антология / под редакцией М. Дэвид-Фокс. Самара : Изд-во Самар. ун-та. С. 250-328.
- Лиотар Ж.-Ф. 1998. Состояние постмодерна. Москва ; Санкт-Петербург : Ин-т эксперимент. социологии ; Алетейя. 160 с.
- Лиотар Ж.-Ф. 2008а. Заметка о смысле «пост-» // Ж.-Ф. Лиотар. Постмодерн в изложении для детей : Письма 1982–1985. Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т. С. 104-111.
- Лиотар Ж.-Ф. 2008b. Примечание к рассказам // Ж.-Ф. Лиотар. Постмодерн в изложении для детей : Письма 1982–1985. Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т. С. 33-38.
- Марков А.В. 2016. Советская модерность: производство отсутствия // Новое литературное обозрение. № 140. С. 76-79.
- Мартьянов В.С. 2010. Политический проект Модерна. От мироэкономики к мирополитике: стратегия России в глобализирующемся мире. Москва : РОССПЭН. 367 с.
- Мостаков А. 1937. Безобразное «наследство» архитектора Э. Мая // Архитектура СССР. № 9. С. 60-63.
- Окладников А.П., Шунков В.И. (ред.) 1968. История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 4 / главные редакторы А.П. Окладников и В.И. Шунков. Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние. 501 с.
- Паперный В.З. 2011. Культура два. Изд. 3-е. Москва : Новое лит. обозрение. 408 с.
- Поселягин Н. 2016. Испытание модерностью: от редактора // Новое литературное обозрение. № 4 (140). С. 16-18.
- Снопек К. 2013. Беляево навсегда. Сохранение непримечательного. Москва : Ин-т медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». 100 с. URL: <https://e-libra.ru/read/494283-belyaevonavsegda-sohranenieneprimechatelnogo.html> (дата обращения: 12.06.2019).
- Сталин И.В. 1949. Год великого перелома: к XII годовщине Октября // И.В. Сталин. Сочинения. Москва : Госполитиздат. Т. 12. С. 118-135.
- Тимошенко А.И. (ред.) 2012. Мобилизационная роль советского государства в хозяйственном освоении Сибири (1920–1980-е гг.) / ответственный редактор А.И. Тимошенко. Новосибирск : Сибир. науч. изд-во. 249 с.
- Фуко М. 2004. Археология знания. Санкт-Петербург : Гуманит. акад. 416 с.
- Хан-Магомедов С.О. 1996. Архитектура советского авангарда. Кн. 1. Проблемы формообразования. Мастера и течения. Москва : Стройиздат. 709 с.
- Хмельницкий Д.С. 2006. Архитектура Сталина. Психология и стиль. Москва : Прогресс-Традиция. 559 с.
- Хмельницкий Д.С., Милютин Е.Н. 2013. Николай Милютин в истории советской архитектуры / Д.С. Хмельницкий. Мы наш, мы новый мир построим / Е.Н. Милютин. Москва : Новое лит. обозрение. 504 с.
- Хоркхаймер М., Адорно Т.В. 1997. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. Москва ; Санкт-Петербург : Медиум : Ювента. 312 с.
- Хоффманн Д.Л. 2018. Возвращение масс: современное государство и советский социализм. 1914–1939. Москва : Новое лит. обозрение. 424 с.
- Bauman Z. 1998. O ładzie, który niszczy, i chaosie, który tworzy, czyli o polityce przestrzeni miejskiej // Formy estetyzacji przestrzeni publicznej / J.S. Wojciechowski i A. Zeidler-Janiszewska (red.). Warszawa : Instytut Kultury. S. 7-23.
- Czeremski M., Sadowski J. 2012. Mit i utopia. Kraków : Libron. 216 s.

- David-Fox M. 2015. *Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union*. Pittsburgh, PA : Pittsburgh Univ. Press. VIII, 286 p.
- Eisenstadt S. 2000. *Multiple Modernities* // *Daedalus*. 2000. Winter. Vol. 129, № 1. P. 1-29.
- Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge : Polity Press. 186 p.
- Imos R. 2007. *Wiara człowieka radzieckiego*. Kraków : Nomos. 238 s.
- Kołakowski L. 1990. *Komunizm jako formacja kulturalna* // L. Kołakowski. *Cywilizacja na ławie oskarżonych*. Warszawa : Res Publica. S. 295-319.
- Kopaliński W. 1985. *Słownik mitów i tradycji kultury*. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy. 1360 s.
- Lazari A. (red.) 1995. *Mentalność rosyjska. Słownik* / red. A. Lazari. Katowice : Śląsk. 119 s.
- Leszczyński A. 2013. *Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej. 583 s.
- Malia M. 2006. *History's Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World*. New Haven ; London : Yale Univ. Press. 360 p.
- Mannheim K. 1992. *Ideologia i utopia* / przekład J. Miziński. Lublin : Test. XXXIII, 260 s.
- Нędза-Сикониовска К. 2018. *European Par Excellence. Several Remarks on Interpreting Soviet Urbanization in Siberia* // *Modernization and Multiple Modernities : The ISPS Convention 2017 Conference Proceedings, Russia, Yekaterinburg, 28-29 April 2017* / E. Stepanova & T. Kruglova (editors) ; KnE Social Sciences. P. 175-189. URL: <https://www.knepublishing.com/index.php/Kne-Social/issue/view/99>. – Дата публикации: 07.06.2018.
- Pańków I. 1990. *Filozofia utopii*. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 199 s.
- Sadowski J. 2009. *Między Pałacem Rad a Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej*. Kraków : EGIS. 293 s.
- Scott J.C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven ; London : Yale Univ. Press. 445 p.
- Szacki J. 2000. *Spotkania z utopią*. Warszawa : Sic!. 240 s.
- Therborn G. 2003. *Entangled Modernities* // *European Journal of Social Theory*. Vol. 6, № 3. P. 293-305.
- Tołoczko Z. 1995. *Wybrane problemy współczesnej estetyki architektonicznej*. Kraków : PK. 195 s.
- Udovički-Selb D. 2009. *Between Modernism and Socialist Realism: Soviet Architectural Culture under Stalin's Revolution from Above, 1928–1938* // *Journal of the Society of Architectural Historians*. Vol. 68, № 4. P. 467-495.
- Welsch W. 1998. *Nasza postmodernistyczna moderna* / przekład R. Kubicki i A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa : Oficyna Naukowa. XXXI, 484 s.

Kinga Nędza-Sikoniowska,

Institute of Russia and Eastern Europe of the Jagiellonian University, Krakow, Poland.
E-mail: ns.kinga@gmail.com

Article received 12.08.2019, accepted 07.10.2019, available online 13.01.2020

SOVIET URBAN EXPERIMENT – BETWEEN THE PROJECT OF MODERNITY AND UTOPIAN CONSCIOUSNESS

Abstract. The article raises the problem of sharp turning points in the Soviet urban discourse that occurred with the moment of Stalin's strengthening in power and after his death. The analyzed urban material was limited by three perspectives: (1) the city's creator (architect and authority), (2) urban space (architectural culture), and (3) the official discourse.

The article substantiates the point of view according to which, and despite the radically different formal languages of the avant-garde, the Stalinist style, and late Soviet modernism one can see behind them a single “content”, namely, the phenomenon of the Soviet city. The changes concerned only the discourse (in our case, urban planning, and architectural one); the main paradigm of the culture did not change: it was remaining uncompromisingly modern.

The article follows the tradition of the critical analysis of modernity – developed both by the members of the Frankfurt School and by postmodernists – but expands the concept of European modernity into Soviet culture. The Soviet metanarrative was based on the belief in the possibility (and necessity) of comprehensive and rational constructing of the reality. It had the character of a total and uncompromising project. And it is the uncompromising nature of Soviet modernity that dooms it to failure. To trace this process, the article explores the relationship between modernity and utopia – both uncompromising and rejecting the legitimacy of the past in favour of a rational plan.

Any attempt to realize utopia means changes in the initial, ideal, theoretical plan, and official Soviet culture – fundamentally uncompromising – carefully concealed that fact (lie and violence become an institution). However, the official discourse and the real image of the Soviet city diverged more and more. The only way for the rapprochement of life and official culture could be an abrupt shift in the dominant discourse playing at the same time the central mobilization role (the pathos of a radical new beginning, according to W. Welsch).

Keywords: modernity; utopia; revolution; Soviet city; Soviet culture; avant-garde; Stalinist architecture; late Soviet modernism.

The research was carried out with the financial support of the National Science Center, Poland (Narodowe Centrum Nauki) in the framework of the project no. 2016/23/N/HS2/01372.

For citation: Nędza-Sikoniowska K. *Sovetskiy gorodskoy eksperiment – mezhdru proektom modernosti i utopicheskim soznaniem* [Soviet urban experiment – between the project of modernity and utopian consciousness], *Antinomii=Antinomies*, 2019, vol. 19, iss. 4, pp. 66-87. DOI 10.24411/2686-7206-2019-00009. (in Russ.).

References

Bakanov S.A. *Mobilizatsionnaya model' razvitiya sovetskogo obshchestva: problemy teorii i istoriografii* [Mobilization Model of the Development of Soviet Society: Problems of Theory and Historiography], *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. № 18 (309). Seriya «Istoriya»*, 2013, iss. 56, pp. 87-92. (in Russ.).

Bauman Z. *Aktual'nost' kholokosta* [Modernity and the Holocaust], Moscow, Evropa, 2010, 316 p. (in Russ.).

Bauman Z. *O ładzie, który niszczy, i chaosie, który tworzy, czyli o polityce przestrzeni miejskiej* [About the Order that Destroys, and the Chaos that Creates, or About the Politics of Urban Space], J.S. Wojciechowski, A. Zeidler-Janiszewska (eds.). *Formy estetyzacji przestrzeni publicznej*, Warszawa, Instytut Kultury, 1998, pp. 7-23. (in Polish).

Bourdieu P. *Sotsiologiya polityki* [Sociology of Politics], Moscow, Socio-Logos, 1993, 336 p. (in Russ.).

Czeremski M., Sadowski J. *Mit i utopia* [Myth and utopia], Kraków, Libron, 2012, 216 p. (in Polish).

David-Fox M. *Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union*, Pittsburgh, PA, Pittsburgh Univ. Press, 2015, viii, 286 p.

David-Fox M. *Modernost' v Rossii i SSSR: otsutstvuyushchaya, obshchaya, al'ternativnaya ili perepletennaya?* [Russian—Soviet Modernity: None, Shared, Alternative, or Entangled?], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2016, no. 4 (140), pp. 19-44. (in Russ.).

Descartes R. *Rassuzhdenie o metode, chtoby verno napravlyat' svoy razum i otyskivat' istinu v naukakh* [Discourse on the Method of Rightly Conducting One's Reason and of Seeking Truth in the Sciences], Moscow, AN SSSR, 1953, 656 p. (in Russ.).

Eisenstadt S. Multiple Modernities, *Daedalus*, 2000, winter, vol. 129, no. 1, pp. 1-29.

Foucault M. *Arkheologiya znaniya* [The Archaeology of Knowledge], St. Petersburg, Gumanitarnaya akademiya, 2004, 416 p. (in Russ.).

Giddens A. *The Consequences of Modernity*, Cambridge, Polity Press, 1990, 186 p.

Groys B.E. *Gesamtkunstwerk Stalin* [Gesamtkunstwerk Stalin], Moscow, Ad Marginem Press, 2013, 168 p. (in Russ.).

Hoffmann D.L. *Vzrashchivanie mass: modernoe gosudarstvo i sovetskiy sotsializm. 1914–1939* [Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939], Moscow, *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2018, 424 p. (in Russ.).

Horkheimer M., Adorno T.W. *Dialektika Prosveshcheniya. Filosofskie fragmenty* [Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments], Moscow, St. Petersburg, Medium, Yuventa, 1997, 312 p. (in Russ.).

Imos R. *Wiara człowieka radzieckiego* [The Faith of the Soviet Man], Kraków, Nomos, 2007, 238 p. (in Polish).

Khan-Magomedov S.O. *Arkhitektura sovetskogo avangarda. Kn. 1. Problemy formoobrazovaniya. Mastera i techeniya* [The Architecture of the Soviet Avant-garde. B. 1: Problems of Shaping. Masters and Currents], Moscow, Stroyizdat, 1996, 709 p. (in Russ.).

Khmelnitsky D.S. *Arkhitektura Stalina. Psikhologiya i stil'* [Stalin's architecture. Psychology and style], Moscow, Progress-Traditsiya, 2006, 559 p. (in Russ.).

Khmelnitsky D.S., Milyutina E.N. *Nikolay Milyutin v istorii sovetskoy arkhitektury. My nash, my novyy mir postroim* [D.S. Khmelnitsky. Nikolai Milyutin in the history of Soviet architecture; E.N. Milyutina. We are ours, we will build a new world], Moscow, *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2013, 504 p. (in Russ.).

Kołakowski L. *Komunizm jako formacja kulturalna* [Communism as a Cultural Formation], L. Kołakowski. *Cywilizacja na ławie oskarżonych*, Warszawa, Res Publica, 1990, pp. 295-319. (in Polish).

Kopaliński W. *Słownik mitów i tradycji kultury* [Dictionary of Myths and Cultural Traditions], Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985, 1360 p. (in Polish).

Kotkin C. *Govorit' po-bolshevistski* [Speaking Bolshevik], M. Devid-Foks (ed.) *Amerikanskaya rusistika. Vekhi istoriografii poslednikh let. Sovetskiy period : antologiya*, Samara, Izdatel'stvo Samarskogo universiteta, 2001, pp. 250-328. (in Russ.).

Lazari A. (ed.) *Mentalność rosyjska. Słownik* [The Russian Mentality. Dictionary], Katowice, Śląsk, 1995, 119 p. (in Polish).

Leszczyński A. *Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980* [The Leap into Modernity: Growth Politics in Peripheral Countries, 1943–1980], Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013, 583 p. (in Polish).

Lyotard J.-F. *Primechanie k rasskazam* [A Note to Stories], *Zh.-F. Liotar. Postmodern v izlozhenii dlya detey : Pis'ma 1982–1985*, Moscow, Rossiyskiy gosudarstvennyy gumanitarnyy universitet, 2008, pp. 33–38. (in Russ.).

Lyotard J.-F. *Sostoyanie postmoderna* [The Postmodern Condition], Moscow, St. Petersburg, Institut eksperimental'noy sotsiologii, Aleteyya, 1998, 160 p. (in Russ.).

Lyotard J.-F. *Zametka o smysle «post-»* [Note on the Meaning of “post”], *Zh.-F. Liotar. Postmodern v izlozhenii dlya detey : Pis'ma 1982–1985*, Moscow, Rossiyskiy gosudarstvennyy gumanitarnyy universitet, 2008, pp. 104–111. (in Russ.).

Malia M. *History's Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World*, New Haven, London, Yale Univ. Press, 2006, 360 p.

Mannheim K. *Ideologia i utopia* [Ideology and Utopia], Lublin, Test, 1992, xxxiii, 260 p. (in Polish).

Markov A.V. *Sovetskaya modernost': proizvodstvo otsutstviya* [Soviet Modernity: The Production of Absence], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2016, no. 140, pp. 76–79.

Martianov V.S. *Politicheskiy proekt Moderna. Ot miroekonomiki k miropolitike: strategiya Rossii v globaliziruyushchemsya mire* [The Political Project of Modernity. From the World–Economy to World–Politics: Russia's Strategy in the Globalized World], Moscow, ROSSPEN, 2010, 367 p. (in Russ.).

Mostakov A. *Bezobraznoe «nasledstvo» arkhitekтора E. Maya* [Ugly “legacy” of the architect E. May], *Arkhitektura SSSR*, 1937, no. 9, pp. 60–63. (in Russ.).

Ńędza-Sikonowska K. European Par Excellence. Several Remarks on Interpreting Soviet Urbanization in Siberia, *E. Stepanova & T. Kruglova (eds.) Modernization and Multiple Modernities : The ISPS Convention 2017 Conference Proceedings, Russia, Yekaterinburg, 28-29 April 2017. KnE Social Sciences*, 2018, pp. 175–189, available at: <https://www.knepublishing.com/index.php/Kne-Social/issue/view/99>. (date of publication June 07, 2018).

Okladnikov A.P., Shunkov V.I. (gen. eds.) *Istoriya Sibiri s drevneyshikh vremen do nashikh dney. T. 4* [The History of Siberia from Earliest Times to Present Day, vol. 4], Leningrad, Nauka, Leningradskoe otdelenie, 1968, 501 p. (in Russ.).

Pańków I. *Filozofia utopii* [The Philosophy of Utopia], Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, 199 p. (in Polish).

Paperny V.Z. *Kul'tura dva* [Culture Two], 3rd ed., Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2011, 408 p. (in Russ.).

Poselyagin N. *Ispytanie modernost'yu: ot redaktora* [Trial by Modernity: (From the Editor)], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2016, no. 4 (140), pp. 16–18. (in Russ.).

Sadowski J. *Między Pałacem Rad a Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej* [Between the Palace of the Soviets and the Palace of Culture. Study of totalitarian culture], Kraków, EGIS, 2009, 293 p. (in Polish).

Scott J.C. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, New Haven, London, Yale Univ. Press, 1998, 445 p.

Snopek K. *Belyaevu navsegda. Cokhranenie neprimechatel'nogo* [Belyayev Forever: Preserving the Generic], Moscow, Institut media, arkhitektury i dizayna «Strelka», 2013, 100 p. available at: <https://e-libra.ru/read/494283-belyaevu-navsegda-sohranenie-neprimechatel-nogo.html> (accessed June 12, 2019). (in Russ.).

Stalin I.V. *God velikogo pereloma: k XII godovshchine Oktyabrya* [The Year of the Great Turn: by the XII Anniversary of October], *I.V. Stalin. Sochineniya*, Moscow, Gospolitizdat, 1949, vol. 12, pp. 118-135. (in Russ.).

Szacki J. *Spotkania z utopią* [Meetings with Utopia], Warszawa, Sic!, 2000, 240 p. (in Polish).

Therborn G. Entangled Modernities, *European Journal of Social Theory*, 2003, vol. 6, no. 3, pp. 293-305.

Timoshenko A.I. (resp. ed.) *Mobilizatsionnaya rol' sovetskogo gosudarstva v khozyaystvennom osvoenii Sibiri (1920–1980-e gg.)* [The Mobilization Role of the Soviet State in the Economic Development of Siberia (1920s – 1980s)], Novosibirsk, Sibirskoe nauchnoe izdatel'stvo, 2012, 249 p. (in Russ.).

Tołoczko Z. *Wybrane problemy współczesnej estetyki architektonicznej* [Selected Problems of Contemporary Architectural Aesthetics], Kraków, PK, 1995, 195 p. (in Polish).

Udovički-Selb D. Between Modernism and Socialist Realism: Soviet Architectural Culture under Stalin's Revolution from Above, 1928–1938, *Journal of the Society of Architectural Historians*, 2009, vol. 68, no. 4, pp. 467-495.

Welsch W. *Nasza postmodernistyczna moderna* [Our Postmodern Modernity], Warszawa, Oficyna Naukowa, 1998, xxxi, 484 p. (in Polish).